

Николай Лесков

Импровизаторы



Николай Семёнович Лесков

Импровизаторы

*Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175249*

Аннотация

«Остроумная писательница, из последнего литературного этюда которой я выписал этот эпиграф, обрисовывает дело чрезвычайно верно. Когда летом 1892 года, в самом конце девятнадцатого века, появилась в нашей стране холера, немедленно же появилось и разномыслие, что надо делать...»

Содержание

I	4
II	7
III	9
IV	12
V	17
VI	20
VII	22
VIII	28
IX	32
X	35

Николай Лесков

Импровизаторы

(Картинка с натуры.)

*Приходи, моя милая крошка,
Приходи посидеть вечером.*

А. Фет

Одни представляли ее себе в виде женщины, отравляющей воду, другие – в виде запятой. Врачи говорили, что надо убить запятую, а народ думал, что надо убить врачей.

С. Смирнова («Нов. вр.», 18 ноября 1892)

I

Остроумная писательница, из последнего литературного этюда которой я выписал этот эпиграф, обрисовывает дело чрезвычайно верно. Когда летом 1892 года, в самом конце девятнадцатого века, появилась в нашей стране холера, немедленно же появилось и разномыслие, что надо делать. «Врачи говорили, что надо убить запятую, а народ думал, что надо убить врачей».

Следует добавить, что народ не только так «думал», но он пробовал и приводить это в действие. Несколько врачей, старавшихся убить запятую для лучшей пользы делу, были сами убиты.

Это случилось, говорят, оттого, что простым людям всего своевременно и терпеливо не объяснили и, главное, не показали им нигде эту самую «запятую», чтобы они видели, как она им вредит. Это, может быть, и в самом деле хорошо было бы показать, но только сделать это было очень трудно: запятая видима только под микроскопом, а в слободах и селениях, где живет «народ по преимуществу», микроскопов (или «мелкоскопов») нет. Поэтому нельзя удивляться, что народу, который впервые услышал про «запятую», вести о ней показались сомнительными. Народ довольно приучен не верить ученым, и он смекнул, кому эта выдумка о «запятой» могла быть выгодна, и порешил наказать лекарей за их выдумку.

В столицах, где образованность несравненно выше, науке оказано совсем иное доверие: здесь запятую видели увеличенную под микроскопом, засушенную и выставленную на окне «в квартире известного журналиста, живущего на окраине города». Об этом было напечатано в петербургской газете, особенно следящей за разнообразными явлениями столичной жизни.

«Журналист, проживающий на окраине», продемонстрировал «запятую» множеству людей, между которыми были особы достопримечательного положения. Вид козявки всех удивлял; большинство людей отбежали от нее в страхе, и лишь немногие поддавались успокоительным уверениям журналиста, что «запятая обезврежена», и тогда брали ее в руки.

Так образованным жителям столицы не было никакого труда уверовать в «запятую»; но слободским и деревенским мужикам никто этого не показал, и они в запятую не поверили и до сих пор еще не верят.

II

Рассказанный случай с «увеличенной запятой» газета объясняла так, что журналист, живущий на окраине, «купил шутки ради курьезную японскую козявку», а когда один генерал спросил его, что это такое, – он, по вдохновению, сказал, что это «увеличенная и засушенная запятая». Генерал этому поверил, а журналист стал пробовать: неужто и другие образованные люди могут верить такой очевидной нелепости. И оказалось, что *все этому верили!*

Если сопоставить то, что замечено г-жою Смирновой насчет несоответствия народных взглядов на «запятую», с тем, что журналист, живущий на окраине, обнаружил в людях высшего порядка, то выйдет, что степень легковерия и безрассудства на том и на другом конце общественной лестницы получается как бы одинаковая; но вверху действует козявка засушенная, а по низам ползет что-то живое, и не заморское, а простое доморощенное.

Что же такое заменяло и заменяет засушенную «запятую» в народе? Я попробую показать эту штуку так, как я ее видел.

Тургенев изобразил, как говорит с простолюдином интеллигент и раскольничий начетчик. У первого все

умно направлено к делу, а второй вертит «яко» да «аще», и смотришь – этого слушают, а того нет. Малороссу, чтобы его растрогать, надо, чтобы ему свой брат сказал: «граю и воропаю». Я сам помню, как в давние времена в Киеве польский актер Рекановский играл роль в какой-то малороссийской пьесе, где после происшедшего в семье горя жена начинает выть, а муж бросает ее за руку на пол и говорит: «Мовчи, бо скорбь велика!» И после этих слов настала пауза, и театр замер, а потом из райка кто-то рыдающим голосом крикнул: «Эге! це не ваш Шекспыр!» И мнение о Шекспире было понижено до бесконечности.

Надо сочинять что-то такое «дуже прустое», чтобы было в их вкусе – с дымком и с грязью, даже, пожалуй, с дуриной.

III

Летом 1892 года я жил на морском берегу в Шмецке. Тяжко больной, я был далек от личного участия в делах, и даже равнодушно читал в газетах энергические приказы генерала Баранова, но потом мне стало интересно сравнивать их с приказами других администраторов, которые ему подражали и блистали только отраженным или заимствованным светом. Из этой литературы я узнавал, что появились люди, которые распускают вредные слухи о болезни, и что нижегородский генерал таких людей сечет розгами и может когда угодно повесить.

Меры генерала Баранова «в наказании разговоров» производили в большой публике впечатление не особенно сильное и неясное; многие не могли взять в толк: отчего одного разговорщика довольно только высечь, а другого надо еще отдать в санитары, а третьего – «повесить» или, по простонародному выражению, «удавить». Какое тут «распределение всеобщей провинности»? Многие думали, что все это последовательно будет сделано над каждым охотником разговаривать, то есть что разговорщика сначала высекут, потом определяют «горшок выносить», а потом уже, когда он станет ни к чему не способен, тогда дадут ему

глухую исповедь и удавят на площади. О самом повешении тоже разноречили: одни были уверены, что «вешать будут только для испуга публики», а потом «курьера выпустят с прощадой», а другие уверяли, что «это не для шутки и никакой прощады не будет, а удавят как следует», отмена же против обыкновения будет только в том, что, «по давлении разговорщика, отдадут одного родственникам для его погребения». Возникал тоже вопрос о женщинах: «как такую сечь, если разговаривает, а сама беременна?» По множеству всех этих сомнений мы с толку сбились и спрашивали разъяснений у четырех отставных губернаторов, которые в это лето ходили у нас по плбжу, но они были заняты своим положением и говорили, что ничего не понимают.

Видаясь со своими соседями – кузнецом, лавочником, лесником – и с своими домохозяевами, я заметил, что они недоумевают: «Какие же это *вредные слова* бывают?» Этого им никто объяснить не мог, а им это было очень нужно знать.

– Ведь вот, – говорили они, – может случиться, что-нибудь такое умственное услышишь и не поймешь в необъяснении случбя, и скассируют насмерть! Мы не можем узнать агитатора!

Это так говорил лавочник, образованный и красноречивый человек, с ораторскими дарованиями кото-

рого мы ниже еще познакомимся.

То, что предвидел лавочник, то и на самом деле отчасти случилось.

Раз, когда я шел домой леском из Мерекюля, нагоняет меня няня из одного моего знакомого семейства и говорит, что «в Петербурге уже народ отравляют».

Я ее отговариваю, чтобы она этому не верила, и напоминаю ей про опасность от генерала Баранова; но она не обращает на мои предостережения никакого внимания и говорит, что то, что она знает, это тоже произошло от генерала.

– Ну, – говорю я, – если от генерала, то в таком случае рассказывайте, что вам известно... Но только смотрите, уверены ли вы, что это точно от генерала?

– От генерала.

И она рассказала историю, которую я здесь передам с возможною точностью.

IV

Живет у рынка отставной генерал. От команды отставлен, но военных прав не лишен и ходит в военном образце с поперечиной. На дачу он не любит ездить, а остается в Петербурге, потому что веселого характера и любит разъезжать по знакомым, а вечером на закат солнца смотрит и слушает, как поют француженки. Он пожилой, но очень веселый, и все бы ему с дамами да с красотками; а жена у него старушка, с ним не живет. Прислуги у него три человека, мужчины: камердинер, повар и буфетчик, и все ему верные, потому что им жить у него прекрасно; гости часто в карты играют, и приходимые красотки жалуют, и тогда уже ни в чем нет сожаления. И теперь же, на этих днях, поехал этот генерал в «Аркадию» или «Ливадию» и пробыл там до последнего времени, а потом поехал домой в простом намерении раздеться, божиныке помолиться и бай-бай заснуть; но только что он хотел в дверь свой ключ вставлять, как вдруг запятая! Сама дверь распахнулась, и на него вылетает оттуда его буфетчик, бледный, как шут Пьеро, и лопочет незнамо что.

Генерал подумал, что, верно, он немножко выпил или тоже приходимую крошку ожидает, а тот ему отвечает: «Никак нет, ваше превосходительство; а у

нас огромное несчастье: вашего камердинера умирать увезли». Генерал рассердился. «Как, без меня? Как смели?.. Говори скорей, как это случилось?»

Буфетчик дрожит и путается языком, но рассказал, что камердинер, проводивши генерала, совсем был здоров и ходил на рыбный садок, себе рыбу купил, а потом пошел к графу Шереметеву к второму регента помощнику спевку слушать, а оттуда на возврате встретил приходимую бедную крошку, и принял ее, и с нею при открытом окне чай пил, а когда пошел ее провожать, то вдруг стал себя руками за живот брать, а дворники его тут же подхватили под руки, а городской засвиристел – и увезли. Он не хотел ехать и не давался – кричал:

– Прощайте, други!.. Ваше превосходительство, заступитесь! – Но они его усадили и неизвестно куда увезли.

– Ах, несчастный! – сказал генерал и, растроганный до слез, сейчас же поехал к обер-полицеймейстеру. Но его там не приняли: говорят: «Есть приемные часы – тогда можете!» Он – к приставу, и пристав нет. «Где же он?» – «Помилуйте, – говорят, – по участку ходит!» – «Кого же я могу видеть?» – «А вот дежурный за стенкой». Выходит из-за стенки дежурный офицер, застегивает на себе мундирный сюртук и спрашивает: «Что угодно?»

Генерал ему все и передает: «Так и так, мой камердинер, на руках которого вещи, серебро и весь дом, а его в мое отсутствие взяли и увезли без извещения меня, как будто какого-нибудь учебного рассуждателя. Прошу мне его сейчас возвратить».

А полицейский говорит: «Я этого не могу, потому что его у нас нет; мы его еще в двенадцатом часу в больницу отправили».

Генерал обругал его как не надо хуже и вскочил опять на извозчика и все извозчика после этого вслед скорей подгоняет.

А извозчик догадался, для чего он ездит, и говорит:
– А осмелюсь спросить: которого часа вашего человека взято?

Генерал говорит:

– О полночи.

– Ну так теперь, – говорит, – ему уже аминь.

– Что ты вздор говоришь!

– Помилуйте, какой же вздор! Теперь они ему уже струменцию запустили.

– Ты глупости говоришь.

А извозчик полуоборотился и крестится рукой, а сам шепчет:

– Ей-богу, ей-богу, – говорит, – ведь они теперь всех струменцией пробуют. Сначала начнут человека в ванной шпарить и кожу долой стирать, и притом в

рот лекарства льют; а которые очень крепкого сложения и от лекарства не могут умереть, тем последнюю струменцию впустят – и этого уж никто не выдержит.

Генерал же думает: врет извозчик, – бросил ему деньги, а сам вбежал в больницу и вскричал:

– Попросить ко мне старшего доктора! Кто здесь старший доктор?

Старший доктор выходит – этакий в заспанном виде, и никакого особого внимания не обращает, а спрохвала спрашивает:

– Что вам угодно?

Генерал ему отвечает живо и бойко и рукой простирает, что вот так и так: «Я, – говорит, – в нынешнем лете на дачу не переезжал и остался в городе...» А лекарь его перебивает: «Вы, – говорит, – пожалуйста, покороче, а то мне из отдаленных начал слушать некогда...»

Генерал немножко рассердился и говорит: «Я вам начинаю так, чтобы было понятно. Я вечером человека в цветочный магазин посылал за букетом и оставил его в цветущем виде, и он еще после меня пошел на садок и спевку слушал».

Но лекарь опять перебивает: «Ваше превосходительство, мне – говорит, – некогда! Нельзя ли, в чем дело?»

– Дело в том, – говорит генерал, – что этого чело-

века взяли и увезли, и он у вас, а я желаю его к себе
взять.

Старший доктор обернулся к фельдшеру и говорит:

– Справься!

А тот справился и сразу отвечает:

– Есть!

– Что же он?

– Умер.

Доктор говорит:

Вот и можете получить.

Генерал и осомлел.

– Что это такое? – говорит. – Я не верю... Всего
несколько часов тому назад человек был полный жизни...

А доктор говорит:

– Это и очень часто так бывает. А впрочем, пожалуйста, служитель вас проведет и его покажет! – и велел служителю: – Проводи генерала!

V

Служитель привел генерала в мертвецкий покой; но тут покойников несколько, и еще на них только нумерки лежат, а нет никакого возвания, и по лицам отличить нельзя, потому что все лица почерневшие, и руки от судорог в перстах сдерганы так, что не то благословение делают, не то растопыркою кызю представляют.

Генерал и говорит:

– Я так не могу своего человека узнать! Мне пусть покажут!

Служитель побежал в контору спросить, под каким оный номером, а генерал остался и замечает, что сзади его кто-то вздохнул. Видит, это читальщик, человек степенный, в очках, в углу стоит, но не читает, а на него сверх очков смотрит, и, как генералу показалось, – с сожалением.

Генерал его и спросил:

– Что, старина, с сожалением смотришь?

– Да, – говорит, – ваше превосходительство.

– Жутко, я думаю, и тебе в таком адском месте?

– Да, – говорит, – но главное дело, что мне утром всегда пить очень хочется, а тут нигде лавчонки нет. В других больницах, которые строены в порядке домов, это хорошо: там сейчас как дождешь утра, так и выбе-

жишь: квасу или огуречного рассолу выпьешь, и оживет душа; а тут эта больница на площади... ни одной лавки вблизи нет... Просто, ей-богу, даже рот трубкой стал.

Генерал вынул два пятиалтынных и говорит:

– Сходи, за моего усопшего чайку в трактире напейся.

Читальщик, разумеется, доволен и благодарит.

– Видно, – говорит, – вам дорогой человек был?

– Да, братец! Я бы ста рублей не пожалел, чтобы его поставить.

А читальщик ему и шепчет:

– Как же их поставить! У них уж все чувства убиты и пульсы заморены, потому что ведь струменцию-то ставят под самую мышку, а в пятках под щиколоткой еще и после смерти пульсы бьются.

Читальщик это сказал и ушел, а генерал евоный намек, на что он намекал, – понял, и как служитель вернулся и сказал, под которым номером камердинер лежит, – тот ему говорит:

– Хорошо, братец, я над ним здесь останусь, а ты поди и сейчас мне батюшку попроси, – я хочу панихиду отпеть.

Служитель опять побежал, а генерал зажег читальщикову свечечку да прямо покойника огнем под пятку... Тот враз и вскочил, а генерал его сейчас на из-

возчика да домой, а потом в баню, а другого человека, буфетчика, к этим же докторам с письмами послал – к старшему и к двум его главным помощникам, – чтобы пришли к нему его самого лечить.

Те и рады: думают, генерал с состоянием, тут уж мы хорошо попользуемся! И притом же они были напугавшись, куда от них из мертвецкой мертвый делся; весь лишний форс с себя сбросили и пришли.

А генерал велел, чтобы как они придут и сядут, так чтобы сейчас открыть из другой комнаты дверь и чтобы камердинер, во фраке, с большим подносом чаю в руках входил.

Доктора как это увидали, так все трое с кресел на пол и упали. А генерал выхватил пистолет и одному и другому помощникам груди прострелил, а старшего доктора выступкой подкинул и начал трепать его со щеки на щеку, а после, как уморился, – говорит: «Иди теперь, жалуйся».

VI

И когда няня dokonчила мне этот рассказ, она добавила с радостью: «Вот как!» – и я удивился. Она была женщина опытная, понятливая и осторожная, так что во всяком деле обмануть ее было нелегко, и неужели же этой нелепости она верила?

Да, она верила, или если и не верила, то *хотела, чтобы это было так*, потому что это ей было *во вкусе*.

Я с нею вступил в пререкание, приводил ей самые простые соображения и доказательства того, что такое происшествие совершенно невозможно. Она все слушала и со мною соглашалась, но вслед за тем с усиленным самодовольством добавляла:

– Ну, однако, генерал докторов все-таки угостил, как заслужили! И вот так бы и всех их стоило.

– Да за что же? Какая им выгода морить людей?

– Вот, вот, вот!.. Вот это-то от них и надо узнать! И узнают...

Мне чувствуется, что эта женщина – заодно с теми, которые думают, что надо убить не «запятую», а докторов. Но, может быть, я ошибаюсь. Любопытствую у ее госпожи, у которой она служит двадцать лет и воспитала ей «гвардейцев». Спрашиваю: не слыхали ли,

какие няня пустяки рассказывает о генерале?

– О, – отвечает мне дама, – это она уже давно говорит... А впрочем, ведь это и все рассказывают.

– Как все?

– Да вот и у X, и у Y, и у Z девушки говорили мне то же самое, да и ваша Саша.

– Что такое – моя Саша?

– Она тоже говорит то же самое.

А «моя Саша» – молодая девушка восемнадцати лет, которая «тиха не по летам» и которую все зовут «мокрой курицей». Что же она может говорить?

Но оказывается, что и она действительно знает о генерале, и его камердинере, и о приходимой красоте, – и сама, хоть она «мокрая курица», но очень весело сочувствует тому, что «лекарей надо бить».

VII

Захожу на другой день к лавочнику посидеть у его лавки. Лавочник – человек молодой, очень приятный и обладает совершенно непосредственным красноречием. Он «из поваров», кроток, благовоспитан и благоуветлив; имеет нежное сердце, за которое и претерпевает. Он «прибыл к здешней предместности» тоже при генерале, у которого ему было «хорошо наживать», но влюбился в «этой предместности» в красивую эстонскую девушку, и они «подзаконились». Отсюда начался «перелом его жизни»: у них вдвоем было пятьдесят рублей капитала, и на этот капитал они повели разностороннюю деятельность: он снял сельскую лавчонку, а она стала заниматься стиркою белья. С тех пор прошло уже несколько лет, и они во все это время неутомимо старались устроиться и кое-чего достигли: у них уже трое детей, и все прехорошенькие, но весь основной капитал ушел в предприятия. Теперь они живут только одним оборотом и, кажется, сами удивляются: как до сих пор их отсюда не выгнали или они не умерли с голоду? Но их любовь и нежное страстное «друг ко другу стремление» не охлаждаются, и потому лица их, равно как и личики их детей, всегда веселы и приятны. Видеть эти счастливые ли-

ца – удовольствие.

Спрашиваю я этого коммерсанта: не слышал ли он истории о воскресшем генеральском камердинере, о котором будто бы все говорят? Лавочник подумал и отвечает:

– Кажется, будто что-то слышал.

– Да ведь это же, – говорю, – нисколько не похоже на правду.

– Не знаю, как вам изъяснить в определении факта; но мне, впрочем, это и ни к чему... Ну их!

А во мне уже разыгрывается подозрительность, что и этот мой собеседник тоже не чистосердечен и что он тоже не за докторов, а за запятую; но поговорили мы дальше, и на душе становится яснее: лавочник оказывается человеком совершенно объективным и даже сам называет уже «историю» *глупостью* и припоминает, что «эта глупость пошла словно с тех пор, как стал ходить *порционный мужик*».

Слово это касается в первый раз моего слуха, и я спрашиваю: что это такое – порционный мужик?

– А это, – отвечает, – я так его прозвал.

– За что же?

– Да уж мал он очень, совершенно цыпленок или порционная стерлядка, которую делить нельзя, а надо всю сразу съесть... Амкнул – и нет его... Да неужли вы его не видали?

– Не видал.

– Да вон он!

И тут я его увидел в жизни первый раз, и, вероятно, с тем, чтобы никогда его не забыть; но так как это видение стоит того, чтобы передать его в точности, то я должен обрисовать и рамку, в которой оно мне показалось.

Шмецк – это длинная береговая линия домиков, соединяющая Устье-Наровы, или Гунгербург, с мерекюльским лесом, за которым непосредственно начинается и сам знаменитый некогда Мерекюль – ныне довольно демократизованный, или «опрощенный».

Местоположение такое: море, за ним полоса плотно уложенного песку (plage), за пляжем береговая опушка из кустов и деревьев, и тут построены дачи или домики, а мимо них пролегает шоссированная дорога, и за нею лес, довольно сырой и довольно грязный.

Лавчонки, так же как и домики, построены лицом к дороге, за которою начинается лес. А потому, когда лавочник, рассказывавший мне о «порционном мужике», заключил свои слова указанием: «Вон он!» – я прежде всего взглянул прямо перед собою на лес, и первое, что мне представилось, навело меня не на ближайшую действительность, а на отдаленное воспоминание о годах, когда я жил также против леса и,

бывало, смотрю на этот лес долго и все вижу одни деревья, и вдруг сидит заяц, подгорюнился и ушки ставит, а у меня сейчас, бывало, является охотничья забота: чем бы его убить? И в это время что-то около себя хватаешь, а опять взглянул – зайца уж и нет!

Теперешнее видение было совершенно в этом роде: на серо-зеленом туманном фоне стояло что-то маленькое и грязно-розовое; но прежде чем я мог хорошо рассмотреть, что это такое, оно уже и сникло.

– Боится, – проговорил лавочник.

– Чего же он боится?

– Запуган, знаете... бедность... Смотрите, смотрите! Вон он где, ниже на дорожку выходит.

И с этим лавочник заложил себе за губу два пальца и пронзительно свистнул.

Порционный мужик вздрогнул и оглянулся.

– Иди-ка сюда. Лишенный! – позвал его лавочник. «Лишенный» к порционному мужику прилагалось вроде обозначения звания: так теперь зовут административно «высланных» или «лишенных столицы».

Мужичонко молча вернулся и пошел, и по мере того, как он ближе к нам подходил, я мог яснее его рассматривать. Лет его нельзя было определить с точностью; у него такое лицо, что ему может быть между двадцатью и пятьюдесятью. Рост крошечный, как рост пятнадцатилетнего мальчика; худ точно скелет, но об-

тянутый не кожей, а вылинявшею и выветренной набойкой; губ нет вовсе – открыты два ряда превосходных белых зубов; нос тоненький и свернувшийся, как корешок у сухой фиги; два глаза небольшие, круглые, как у птицы, и оба разного цвета, как у знаменитого Анастасия Дирахита: в одном глазе зрачок чистый, голубой, а в другом весь испещрен темными штрихами и крапинами, и оттого кажется коричневым; боро денка и волосы на голове – это всё какие-то клочья. На голове шапки нет, бос и почти что наг, потому что весь убор его состоит из порток и рубашки: портки из набойки, изношенные до лепестков; они спускаются только немножечко ниже колен и оканчиваются «бах-марою». Рубашка была когда-то из розовой пестряди, но теперь это одна розовая грязь.

Гейне видел в Пиренеях над бездною нищего испанца, который был покрыт лохмотьями, и «у него гляделась бедность в каждую прореху; из очей глядела бедность», но «исхудалыми перстами он щипал свою гитару».¹ И описание этой бедности разрывало душу людей чувствительных и добрых, а испанец все-таки был «в лохмотьях» в теплом климате, и у него была еще «своя гитара»...

Западные писатели совсем не знают самых совершенных людей в этом роде. Порционный мужик был

¹ «Атта Троль». (Прим. автора.)

бы моделью получше испанца с гитарой. Это был не человек, а какое-то движущееся ничто. Это сухой лист, который оторван где-то от какого-то ледащего дерева, и его теперь гонит и кружит по ветру, и мочит его, и сушит, и все это опять для того, чтобы гнать и метать куда-то далее...

И видишь его, и не разумеешь: в чем же есть смысл этого существования?

«Господи! что сей сам или родители его согрешили, и как проявятся в нем дела божи?!» Неужели если бы птицы исклевала его в зерне или если бы камень жерновый утопил его в детстве, – ему тогда было бы хуже?

Конечно, «весть господь, чего ради изнемождает плоть сынов человеческих», но человеку все-таки будет «страшно за человека»!

VIII

Он подошел и стал и никому не сказал ни слова... Босые ноги его все в болотине, волосы шевелятся... Я близорук, но я вижу, что там делается. Руки его висят вдоль ребер, и он большими перстами загнул их за веревочку, которою подпоясан. Какие бедные, несчастные руки! Они не могли бы щипать гитару... Нет, это какие-то увядшие плети тыквы, которую никто не поливал в засуху. Глаза круглые, унылые и разного цвета – они не глядят ни на что в особенности, а заметно, что они всё видят, но ему ничто не интересно. За щеками во рту он что-то двигает; это ходит у него за скулюю, как орех у белки.

С этого и началась беседа.

Лавочник спросил у него:

– Что ты. Лишенный, во рту сосешь? Он плюнул на ладонь и молча показал медный грош и сейчас же опять взял его в рот вместе с слюнями.

– Хлеба купить желаешь?

Порционный отрицательно покачал головою.

Лавочник в его же присутствии наскоро изъяснил о нем, что он «из-за Москвы», – «оголел с голоду»: чей-то скот пригнал в Петербург и хотел там остаться дрова катать, чтобы домой денег послать, но у него в ноч-

лежном приюте какой-то странник украл пятнадцать рублей и скрылся, а он с горя ходил без ума и взят и выслан «с лишением столицы», но не вытерпел и опять назад прибежал, чтобы свои пятнадцать рублей отыскивать.

И когда рассказ дошел до этого, порционный отозвался; он опять выплюнул на руку грош и сказал:

– Теперь уже не надо.

Голос у него тоненький и жалостный, как у больных девочек, когда они обмогаются.

– Отчего же не надо?

– Детки померли...

– Разве ты письмо получил?

– Нет; журавли летели да пели.

– А где же твоя жена?

– К слепым пошла. Слепым-то ведь хорошо жить: им подают... им надо стряпать...

Мы все замолчали, – кажется, мы все страдали, а он, без сомнения, всех больше; но лицо его не выражало *ничего!*

– Убитый человек! – прошептал нищий лавочник, – в рассудке решается, – и подал ему булку.

Тот ее взял, не поблагодарив, сунул за локоть и опять опустил руки вдоль ребер.

– Съешь! – сказал лавочник.

Мужик не отвечал, но взял булку в руку, подержал

и даже что-то с нее хотел счистить, и опять туда же сунул, за локоть.

– Не хочешь есть?

– Не хочу... детям снесу.

– Да дети ведь померли!

– Ну так что ж... Им там дадут, в раю, по яблочку.

– Ну да; а ты булку сам съешь.

Мужик опять взял булку в руки, опять снял с нее то, что ненадлежаще явилось, и затем вздохнул и тихо сказал:

– Нет; все-таки пущай лучше детям.

Лавочник посмотрел на него – вздвигнул плечами и прошептал:

– Господи! тоже и родитель еще называется!

Мужик это услышал и повторил:

– Родители.

– И все чувства к семье имеешь?

– А то как же!

– А какое твое вперед стремление?

– Не знаю.

– Расскажи барину, как генерал докторов бил. Барин тебе тоже на хлеб даст: может быть, в Нарву съездишь, а там какую-нибудь работу найдешь.

И порционный сейчас же начал сразу ровным, тихим голосом всю ту историю, которую я передал уже со слов своей знакомой няни, но только порцион ее

излагал в самом сильном конкрете: «Жил возле рынка генерал... имел верного слугу-камердинера. Отлучился в киятер, а верный камердинер к себе приходимую кралю принял чай пить... как вдруг ему резь живота... Взяли его и стали над ним опыт струментой пробовать, все чувства угасили, но в подщиколке еще пульс бил. Генерал его восхитил – и в баню; потом позвал докторов в гости, а камердинеру велел войти и чай подать... Те и попадали... А генерал двух расстрелял, а третьего в морду набил и сказал: „Ступай, жалуйся!“»

Этим все и кончилось.

Я дал мужику два двугривенных и хотел ему собрать завтра между знакомыми все пятнадцать рублей, которые у него странник украл. Он мои двугривенные кинул себе в рот (карманов у него, как у настоящего праведника, не было). И затем он ушел и более уже в наших местах не показывался. Я уж думал, не повлек ли его рок в Нижний за краткой развязкою?..

IX

А тем временем приезжает с кем-то извозчик из Нарвы и говорит, что к ним ждут генерала Баранова и полк артиллерии.

– Для чего же?

– Да на фабриках, – говорит, – очень живой разговор пошел.

– О чем?

– Все об струменте.

А дальше рассказывает, что у них дело будто уже и разыгралось таким образом: пошел будто у них какой-то доктор на Нарову купаться, разделся и стал при всех глупость делать: спустил на шнурке с мостка в воду трубку и болтает ее и взад и вперед водит. Пополоскает, пополоскает и опять вытянет, поглядит и опять запустит... Люди увидели это, и несколько человек остановились, а потом вскричали ему: «Доктор, мол, доктор! Слышь-ко, оставь, мол, лучше эту... струментацыю-то! Полно тебе ее полоскать!.. Оставь же, мол; а то нехорошо будет!» А он не послушался и еще раз закинул. Ну, уж тут его один по голой плоти хворостиной и дернул. И стали приставать. «Поддай инструмент, мы его отнесем узнать: что там насажено». А он первой же хворостины испугался и бежать,

и инструмент с собой... Ну, тогда, разумеется, за ним уж и многие рушили, и кои догоняли, те били его; но слава богу, что он резво бежал; а если бы он, на грех, споткнулся либо упал – так насмерть бы убить могли. Доктор успел вспрыгнуть на извозчика и в полицию голый так и вскочил... Тут после и пошли по всем сходным местам и трактирам сходиться все фабричные и их эти тоже приходимые красотки и пошли говорить по-русски и по-эстонски, для чего же полиция могла скрыть такого человека, который не постыдился при всех в воде через инструмент микробу впускать... И теперь беспокойства, и ждут, что с одной стороны выедет губернатор из Ревеля, а с другой вступит граф Баранов – и начнет всем публиковать свои правила.

«Инструмент» и «приходимые красотки» – это прямо отдавало тем самым источником, из которого были почерпнуты первые материалы для легенды, получившей свое развитие у нас на *plage*. Ветер или вода, значит, занесли «запятую» прежде всего туда, в наше фешенебельное место; но там, на *plage*, «запятой» «среда не благоприятствовала», и запятая не принялась, или, культивируясь, вырождалась во что-то мало схожее и постороннее: а вот тут, когда она попала в среду ей вполне благоприятную, она «развила свои разведения».

А что это была именно она, та самая «запятая», ко-

торую мы видели и не узнали, а еще сунули ей в зубы хлеб и два двугривенных, то это вдруг сообразили и я и лавочник. И лавочник к тому имел еще и «подтверждение на факте», так как он сам ездил на лошади в Нарву за товаром, и когда назад возвращался, то порционный мужик сам явился ему за городом: он совершенно неожиданно поднялся к нему из мокрой канавки и закричал: «Журавли летят! Журавли! Аллилуйя!» Но только лавочник на этот раз был уже умнее: он теперь знал, что порционный мужик – человек опасный: лавочник поскорее хлестнул лошадь и хлеба ему не кинул, а кнутом ему погрозил да прикрикнул:

– Вон граф Абрамов наступает с публикацией – он тебя удовольствует!

А на «порцыоне» как раз, кстати, теперь уже и рваных порт совсем не было, так что и легко было его «удовольствовать»... Но сумасшедший дом, однако, мог бы без греха укрыть его от этого «удовольствия».

Х

Вот и весь сказ о запятой. Тут налицо все: какая у нее видимость и умственность, что у нее за характер и какова она в словах и в рассуждении своего влияния на мозг человеческий. Кажется, ничто особенно хитро не задумано и не слажено: что есть, то все взято без всякой пропорции, не на вес, а на глазомер, или, еще проще, – сколько влезло. Во всяком случае, всего менее попало сюда злого намерения и расчета. Этого снадобья тут не более, чем поэзии Фета, которая участвует в составе преступления «запятой» только одним стихом: «Приходи, моя милая крошка». Таким образом, муза поэта, ненавидевшего народные несуразности, изловлена где-то в то время, как она гуляла в ароматном цветнике или неслась над деревнею по воздуху, слетев с уст певички, «запузыривавшей» за фортепианом в дворянском доме. Аф. Аф. Фет, верно, был бы недоволен тем, что серый народ без толку тормозит его «милую крошку», но вины Фета в том нет. Столько же виновата и вся действительность. Ветер лист сухой гоняет и треплет, и он то летит, то катится, то гниет в грязи, и потом опять сохнет, и опять из темных мест поднимается. Вот это самое действительное и несомненное; все остальное – зыбь подне-

бесная, марево, буддийская карма, которая всем точно снится... Никакого первого заводчика песни и сочинителя легенды нет. Порционный мужик, конечно, не сочинял «бедную крошку». Где ему! Он получил ее уже готовую, и за горем своим он развивал ее гораздо слабее, чем все другие импровизаторы... За что же его так участь жестока?

О господи! сжался над ним, да сошли и нам просвещающую веру вместо суеверия!

Из всех «запятых» самые ужасные – те, которые скрываются во тьме суеверий.

1892 г.